

«Странная штука эта память...»

Странная штука эта память... Слякоть на улице и на душе. Затяжная усталость, за окном зыбкая морось. Ничего, кроме сизой дымки и неизлечимой тоски. Хотя нет, ещё безразличные небеса и несбыточные мечты. Ноябрь тянется будто вечность. Кто-нибудь помнит, как выглядит солнце?

А вот бы настала весна! Улизнуть в деревню, проснуться с первым отблеском пунцовой зари, помчаться вслед за южным ветром в поля. А там... васильки умываются росами, серебрится ковыль, лягушачий хор срывает последние аккорды. Сладостью веет от вишен в белоснежных вуалях. Да только приуныли одуванчики. Юность их скоротечна. Лишь вчера они светили ярче солнца, а ныне тяжелы их седые головы... На трухлявой яблоньке два соловья никак не решат, кто искуснее. Неожиданно в спор ввязывается петух. Он-то всех голосистее! Вдруг вспомнится кислинка первой ягоды. За осень и зиму так соскучишься по клубнике, что будешь есть её прямо с грядки, недоспелую, чумазую! Набегаешься, ноги мокрые от росы, голова горячая от солнца. И как оно успело взобраться так высоко?

Наконец я возвращаюсь в дом. Жалостливо поскрипывают дверные петли, им вторят уставшие от жизни половицы. Пахнет гречневой кашей и цветочным мёдом. За столом сидит прадед. Он ест молча и лишь приподнимает глаза, когда я присаживаюсь напротив него. На первый взгляд, Степан Кузьмич, сам себе на уме. Но стоит его разговорить, кажется, будто он только этого и ждал.

- Я ж в тридцать первом году родился... А, нет, погоди. Мамка меня записала тридцатым, а родился-то я в декабре двадцать девятого. Сколько мне в сорок первом стукнуло? Одиннадцать... Сестрёнке – восемь. Помню, немцы шли, вон с той стороны, - отодвинет тюлевую занавеску и задумчиво посмотрит на цветущий луг, - Танки, машины громыхали... Здесь немцы никого не тронули, да и трогать было некого: женщины, дети... А в соседней деревне десятерых мужиков расстреляли! – Его голос, и так низкий, падает до хрипоты, - Тьфу ты, чёрт! Совсем скорого немый стану! Вот говорят: жить долго нужно, долго... а живёшь долго – так меньше хочется. До семидесяти, и всё – крышка, - прадед хлопает по столу, - А самому-то уже девятый десяток вот-вот да нагрнет, - с печальной иронией подсмеивается он.

Холод собачий, есть нечего. Мать вздыхает: «Помирать, так не в родном доме!» Собрали последние крошки и вышли на дорогу. В помине здесь дороги-то не было, только слякоть и размазня. А немцы – шустрые! Асфальт положили да разъезжают. Спрашиваю у матери: «Куда идти-то собралась?» Она молчит. Я взял сестрёнку за руку и увёл в дом.

Как-то под зиму двигалась ихняя колонна. Какой-то фриц спустился с пригорка, поставил машину тут-то, под клёном и зашёл в дом. Мать только перекреститься успела, уже плакаться собралась, только бы дитяток не мучали... А он: «Яйца есть?» Ну так я и принёс с шесть штук. Понятия не имею, что он с теми-то яйцами делал: так пил или варил... кто его знает?

Через несколько дней снова приходит. Только под шинелью у него что-то топорщится. А что – не разберешь. Ни денег, ни еды у нас не было... вдруг подмышкой винтовка? А нам даже откупиться нечем, – Прадед на секунду замолкает и переводит дух, - Распахивает этот фриц шинель, а там соль, мыло! Ну мать на радостях и сказала: «Налей-ка ему!» Немец сразу понял о чём речь: «Schnapps?» «Шнапс, шнапс», - отвечаю я. Голодали, когда крал, когда что-нибудь и урождалось в огороде, а этого добра – всегда, сколько душе угодно! – Прадед с гордостью опрокидывает рюмку розовой от клюквы настойки, - Эх! Это сейчас

я в день по рюмочке... А тогда... Налил ему граненый стакан. От души! А он смотрит на меня, не отравлено? Мол, пей первый! А я и выпил! – после этих слов прадед почесывает щетину и иронично посмеивается, - «Будь спокоен», - говорю ему. Ну, он на радостях следом за мной и опрокинул этот стакан. Да под стол и завалился! «Hitler Kaput!» - только и услышали мы оттуда!

Так Степан Кузьмич заканчивает свою излюбленную байку. Каждый, кто хоть раз в жизни бывал Высоконских дворах, уж точно сочувствовал тому фрицу. На это прадед говорит: «Эх! Не те уж люди стали. Немцы почему не выдержали наших морозов? Скажите... «шинельки тонюсенькие», да я вообще босым бегал! Вот – жив до сих пор! А их, обмороженных, штабелями выносили. А знаете, почему? Изнутри не закаленные были! У нас-то, как принято? На улице градус падает, а мы – повышаем! Мороз крепчает, так согреться нужно!»

Иногда Степан Кузьмич задумается. Он изредка делится тяжелыми воспоминаниями. Люди его поколения были вынуждены научиться превращать слёзы в смех, радоваться простым вещам. Они испили жизнь до последней капли, но и отдали всё, без остатка.

- Да... сколько людей загубили. Наших и их – ничуть не хуже. Потом, как отступали немцы, забегает. Весь чумазый, в крови. Шинель изорвана... «Ма! Дай хлеба!» - просит. Мы сами голодали, но мать дала ему и хлеба, и скибку сала. Побег он дальше, а куда побег? Кто его знает... Зима та стояла холодная. Мороз сорок два градуса, снег под три метра. В комнатах темно, окна завалило. Москву они брать собрались! Весной снег сошёл. Вот что скажу: мёрзлых их было куда больше, чем пристреленных. И наш, фриц, наверное, в какой-нибудь канавке оттаял...

Да уж, странная штука эта память. Глубокая осень, а мысли лишь о весне...